

Interview with SOFIA GINZBURSKY

Holocaust Media Project

Date: 7/28/92 Place: San Francisco

Interviewer: Rita Gopstein

Transcriber: Harry Weber

В: Софья Михайловна, скажите, пожалуйста, как ваша фамилия в детстве была, кто были ваши родители, помните ли вы даты их рождения? Скажите, когда вы родились, где вы родились, какая была в детстве жизнь?

О: Я жила в Белоруссии. Значит, отец мой был Моисей Ротин. Моя девичья фамилия Ротина. Сейчас значит и мать--девичья фамилия тоже надо--Кузнецова. Жили они тогда в Белоруссии, в Осиповичах. Я там и родилась, теперь в Могилевской губернии сейчас считается. У нас было *в 21-м году, был голод, и моя мама умерла в 27 лет.* трое детей, а мама моя умерла в 27 лет, И нас всех троих кого куда распихали. Значит, одну сестру к одному дедушке, вторую сестру к другому дедушке, и я тоже попала к одному дедушке.

Там я прожила немного, очень немного, потому что у дедушки была вторая жена, и она не хотела, чтобы дети там лишние были. Меня отправили. Я уехала с папой в Гомельской области, такое местечко.

? *Ч* Чатылкино называется. Там он женился и мачеха тоже не хотела, чтобы он бы взял к себе своих детей, и меня отправили обратно к дедушке в Гомель, и там поступила, как называется, в ПТУ, или как это называется--нет, при детском доме было такое-то ОДД, Общество Друг детей. И вот в этом Обществе Друг детей меня приняли по знакомству, правда. И я там

Получала питание и жила на квартире и училась. А потом я в Гомель устроилась в ПТУ. Ну, работала по слесарному делу.

Ну, потом, когда я кончила ПТУ я всю жизнь мечтала поехать в Ленинград. В Ленинграде у меня таких близких родственников не было--далекие родственники. И я значит туда заехала, я даже к чужим заехала, по знакомым, и я у них прожила немного. Потом у меня родственники устроили меня к себе няней--одна из родственниц. И я училась и была няней, ходила с детьми в баню, смотрела, у нее было трое детей. После того, как я прожила в Ленинграде года два, кто-то из родственников пригласил меня, устроил меня на работу. Это было в Ленинграде в 36ом, 37ом году. И я так работала сначала секретарем--я грамотна очень была. Потом, значит, чертежницей, и я там проработала в этом

458 Гипромезе _____ 7 лет, получала благодарности и все. Потом стала переписываться с моим мужем, и он приехал в Ленинград и мы зарегистрировались. И он меня завез в Белоруссию, в город Гомель--он из Гомеля сам. За год до этого я была в Гомеле и он сказал, что он придет в Ленинград. И через год он приехал и мы зарегистрировались и я уехала в Гомель. В Гомеле я прожила с 37ого года по сорок...когда началась война с Польшей, тогда в западной Белоруссии. Мой муж в это время учился в вечернем *училище*, закончил педагогический институт и его направили в Белосток, тогда Польшу взяли. И в Белостоке он был директором русской школы. Я тоже в младших классах преподавала. У меня было уже два сына, два мальчика. В общем, мы прожили в Белостоке один учебный год. И его вызывают в Ленинград на семинар директоров школ. А я с двумя детьми приехала в гости к нам в Белосток по вызову--еще тогда мама мужа она у нас тоже гостила. И я осталась с

двумя детьми и с матерью больной. В это время он приехал в Ленинград 19го июня и слышит--19го он уехал и 21го июня он слышал на вокзале речь Молотова, что война, ~~что~~ на нас напал немец. И поскольку Белосток граница Германии, так в 5 утра у нас уже был немец. Страшно бомбили, ужасно. И нас русских собрали всех и посадили в товарняк, в высокий этот. Мы туда забирались, прыгали оттуда. Ну мы сели в этот товарняк с двумя детьми и я с мамой, ничего не взяли. Вот как стояли. Мы, значит, когда мы сели в поезд, не впускали не за что, почему-то сперва говорили, что какое-то вредительство. Это ночью было, уже к вечеру, а утром он пошел и мы доехали до станции Волковыск и нас разбомбили. Ну все и так садились во что есть и так вообще ничего не было. Ну там в Волковыске, когда начали бомбить, я с двумя детьми с матерью в огороде, а самолет очень низко и тут убитые, и по убитым трупам мы шагали и все равно нас вот судьба сохранила, как-то на нас не попало.

У нас ничего не было. Мальчик младший прямо умирал с голоду--есть хотели. И вот машины ехали--наши отступали. А немец у Волковыска, как-то немец наши машины не проезжали. Вот я стала бегать за машинами и просила ^и хлеба или что и бросили несколько кусков сахару и я дала детям и вот этим они спаслись.

Ну потом весь день бомбили, и сказали, что мост, и мы сели вот в этот курятник. Как мы туда залезли я даже не знаю. А там нет воздуха, потолок на голове, там это же внизу. Мы задыхались там и решили выйти к вечеру, и мы вышли полумертвые с детьми, с матерью.

Потом мы пошли в лес. В лесу освещал немец прожектором, как вот здесь светло, и видели всех, кто где же лежит. Но леса почему-то этот

не бомбил, и мы еле пережили эту страшную ночь, и утром встали, пошли по деревням просить кусочек хлеба и что-то одеть ребенку-- босые, голые--ну нам показали там в Волковыске военный какой-то пункт, где военные отступали--там очень много было тогда военных. И жены и семьи оставляли там целые кучи всякой утварю. Мы пошли туда и кое-что я подобрала одеть на себе и детям. Там какие-то туфельки и все и пошли по деревням. Просили кусочек хлеба, вот так мы прожили. И никак не могли добраться. И вот так мы в этом Волковыске--не помню, сколько мы были, но по-моему с недельку мы там жили, по деревням ходили кушать, а ночью спали в лесу. А потом, знаете, когда мы выехали, когда немцы начали брать наши города, мы стали просить, чтоб нас--я разговаривала по-немецки, я учительница немецкого языка--так мы стали просить, чтобы нас взяли до следующего этого--они говорят "*nach Osten*," это «на восток». Мы стали просить--они в Жлобин ехали, чтобы в Жлобине, понимаете. Так что мы жлобинские, просим мы с востока, они же видели, что мы приехали Польшу освобождать, освободили, мол, они, вот все. И у одной машины начала проситься, подошла к одной машине и просила, чтоб он нас взял с детьми, с матерью, и он нас взял и довез до Жлобина.

Когда мы приехали в Жлобин, на вокзал, ну мы вышли в первый попавший дом. Там тоже беженцы, так с других городов западной Белоруссии и мы, значит... Я еще забыла сказать, что мы были в Барановичах после Волковыска, это не важно? Мы были еще в Барановичах и в Барановичах я порвала все свои документы. Потому что немцы сказали, говорили вслух, жиды--это большевизм, и что мы всех истребим и вам хорошо будет жить без жидов, и все такое. Я вот, значит,

истребила свои документы. Когда я стала без документов, в Барановичах, в комендатуре давали Ausweis--это справки, хотя бы удостоверение, как будто бы, я тогда поменяла свою фамилию на фамилию не Гинзбурская, а Гидурская, более звучит так. Так я пошла в комендатуру, какой-то немецкий старенький, старенький генерал, там сидит. Я ему по-немецки сказала, что я по-немецки говорю. Он сказал, «Иди к машинистке, она тебе напечатает--скажи ей.» Я пошла и сказала Гидурская. Я была Софья Моисеевна, а я сказала «Софья Михайловна», я так и осталась. Я сказала, «Гидурская, Софья Михайловна», такого-то года, и еду домой в Гомель с двумя детьми, и у ~~детей~~^{меня} русские имена Витя и Леня, Виктор и Леонид. И они это написали, чтобы я кому-нибудь из немцев, кто меня остановит, что я еду ~~домой~~ из Белостока. Вот мне дали эту справочку маленькую. Я поблагодарила и ушла.

Потом там же в Барановичах я нашла машину--это не с Волковыска, а с Барановичей, и вот немецкая машина ехала у нас грузовая. И нас взяли в грузовую машину и довезли до Жлобина, они сказали, куда они едут, я спросила. Уже Жлобин был освобожденный и еще в Бобруйске до этого мы скитались и приехали в Бобруйск, а там все ставни закрыты--мы рано приехали. Город пустой, немцы одни шаркают--жутко. Я зашла в первый попавшийся дом, как еще присоединились--там беженцы из Гомеля. Ставни были закрыты. Я зашла на кухню и стала осматривать, кто тут, и упала в погреб и ударила так ногу, что наверно год не заживала. Уже в комендатуре немецкой меня лечили. И я боялась ходить, чтобы не опознавали. Я сделала уже сразу платок такой вот, и краснощекая, молодая, я была не похожа. И вот я лечила еще эту ногу в Бобруйске три месяца. Он был в котле, все время в окружении и никак не взять было.

Так я устроилась, я по-немецки говорю, на каком-то складе я пришла с детьми, прошу, чтобы меня устроили, чтоб меня взяли. Я там устроилась--там меняли наши продукты--мыло, пшено--нет, они давали сахар и меняли на наши продукты. И когда меня устроили, я кормила мать, детей, понимаете. И те, которые были со мной в квартире, тоже беженцы. Мы, значит, питались этим. И мне давали каждый день банку пшена или такую банку небольшую, или банку сахара.

Потом, когда немец уже окружил и взял Бобруйск, они двинулись, сказали, на Жлобин. И вот я опять нашла машину, уже тут, где я работала. Там и русские были, и нас довезли до Жлобина. И уже я получила справку, что у меня это не ворованные продукты, мол, я у *deutsche Wehrmacht* получила.

Я приехала *туда* в Жлобин. Там бабушка у меня жила 70-летняя. Я оставила детей в одном из домов--там полно было беженцев. Все смотрели моего Витю. Тогда немец был, и фронт и все еще не смотрели так. Эсэсовцев не было. И я оставила детей с мамой (с мужа), и побежала бабушку мою навестить. Я думала, что там может быть, мужа родня вся жила в этом. Так мужа *(вся) родня* уже эвакуировалась. А бабушка эта была там, бедная, это так ее там и убили. Вот, так я бабушку позвала, я боялась ходить по городу. Я и дала ей очень много, сахару, пшено--не голодали. А потом их там расстреляли. Это моя бабушка, *Она моя, она*, которая *после мамы* и вот меня отдали дедушке, так она меня растила.

В: Как ее звали?

О: Гися. Гися. Дедушки уже не было, он был умершим уже. А бабушка вот жила, итак я ей надавала всего этого. И она сказала, что неделю тому назад тут были наши, русские, и твой муж приезжал и думал, что

может быть вы остановились у меня или что, искал тебя. Также и в Гомеле. Ну, неделю, иди лови его, когда он ушел вместе с фронтом.

Потом мы прибыли в этот Гомель, а с нами была гомельчанка одна. У нее был свой дом. У меня в Гомеле не было ничего, мы же жили уже в Белостоке. Я оставила детей, побежала посмотреть родственников. Никого не было. Но я решила там у этой, куда мы заехали у гомельчанки. Она зашла и сказала, «Ой, наш дом, а там уже были заключенные, бежавшие из тюрьмы.» Так они кричали, ^{«Был} твой дом, а сейчас наш дом, вон отсюда ^{все} все. Ну, я почувствовала, что они нас тут зарежут. Я скиталась, скиталась, мы там прожили несколько дней.

Пришли Polizei. Один: «Ты жидовка. Иди работать.» Им ничего не надо было, надо было поиздеваться. Когда меня послали, была вырыта глубокая яма. Я детей оставляла и мать и в эту ^{изгородь} яму пускалась сама, песком так, сыпалось на меня песок и все, и я стояла и вытаскивала оттуда ведра с песком--такая тяжесть. (плачут) И я высыпала и так им надо было поиздеваться. Вот. И вот так продолжалась неделя. Потом после этого за водой меня послали и набирала два ведра и выливали--это чтобы я работала.

Потом, один такой был главный Polizei--он из тюрьмы вышел, высокий такой, другой пониже--так он этому командовал: «Ружье взять, стеречь их с ружьем!» И он возле нас стоял. Потом уже к вечеру однажды я стала его умолять, я все время просила, что у меня родственники тут живут, я сказала. Я пойду, мне легче будет с детьми, мол, и с мамой, с родственником. А тут эти женщины набрасывались, они вместе с ними были, все вышли из тюрьмы. Я стала умолять, двое детей, я говорю, а все равно я в ваших руках, только дайте мне соединиться с родствен-

НИКОМ, чтобы это вот. Итак он это один раз, настроение--он подвыпивши был: «Ну, ладно, иди!»

Так я оторвала, понимаете, с доску там с забора, и мы с детьми, с мамой побежали--нет, маму я раньше отправила, не спрося у них. А мы с детьми и с мамой тоже прошли туда.

Ну, пришли там, где двоюродный мамин, мужа мамин племянник жил. Так он, значит, уже эвакуировал. Там жила одна женщина такая, легкого поведения. Но это такая немножко у нее вот И она мне сказала, «Ну, живите у нас», это дом этого брата, Фимы, значит. Вобщем дом этот, так что поживите. И мы с мамой там. Но там места не было, там уже были беженцы тоже из Белостока. А рядом дом разбомбили. Он был двойной дом, так одну половину разбомбили--там и печка и все. А другая была целая, и так в целой они жили с мамой и все. А я с детьми спала на полу--кирпичи валились и печки разрушены; там пройти даже нельзя было так хорошо. И мы там ночевали на полу, и там мы находились в этой разбомбленной половине. Потом мама узнала, что--я не взяла платочек с собой...девочка!

[Мужской голос: Five seconds.]

В: Чистый платок, пожалуйста. _____

[Голос: О.К.]

В: В Гомеле, куда вы пришли, эту женщину, гомельчанку, как звали?

О: Надя.

В: Надя? А фамилиюпомните?

О: Нет, фамилию я не знаю.

В: А эти все были из тюрьмы бежали уголовники?

О: Уголовники. А это в другом доме, а в том, да, уголовники.

В: Они были **Polizei**-ами?

О: Они с полицайами связаны были. Они их же не трогали, а только вот нас. Жиды, он сказал, вы бежали, говорит. Мои дети были одеты в таких бархатных костюмчиках ну там, в Белостоке, в Польше тогда было всего, не стоили эту ерунду. «Почему эти жиденятки в этих костюмчиках, а у нас нет, в России же их не было никогда? Почему вот так? Вот тут ты не работала.» Я говорю, «Я работала, вишь, учительницей.» «Это не работа.» В общем, иди поработай, и вот я этого делала, то, что они говорили.

В: И вот вы пришли в другой дом?

О: Я пришла, мы пришли вот к этой Наде. Ну, она такая добрая, ну, немножко несобранная, что-то у ней не хватает, действительно. Но, ничего такая. И к ней прихаживали эти всякие...кавалеры. Ну, мы все это терпели, конечно.

И вдруг мы пожили в Гомеле месяца--мы прибыли туда в августе, в июне началась война, мы прибыли туда в конце июля-в начале августа, и пожили до ноября. Начались морозы, заморозки. Дети мои ничего не имеют, туфельки. Она там открыла сарай этого племянника и сказала, «Берите его барахло, что надо.» Так я взяла телогрейку и стирала белье, ходила стирать белье к этим походным кухням, немецким. За это они мне давали мыла кусок, керосин. А тогда уже не было света и электричество уже выключено было. Там, во дворе, рядом с нашим домом, жила женщина, которая умела шить. Она из этих телогреек--я ее попросила--сшила такие черные вот такие...мм..., чтоб ноги не замерзли--

они же в туфельках. Я дала ей керосин, сами мы сидели в темноте, и она мне шила.

Ну, кое-что одели на себя--кожух такой называется--тулуп рваный, драный. Там я познакомилась еще с одной женщиной. Эта женщина из Барановичей, тоже двое детей. Она уже умерла, к сожалению, от всего этого. И я видела, что один мальчик вообще был точно еврей, а девочка не очень. Вот я там с ней познакомилась, чтоб было не так боязно. Я одна там бегала, ходила, по кухне боялась.

Так, мы с ней вдвоем. Я говорю, хочешь? И мы с ней вдвоем бегали, набирали белье стирать этим сволочам немцам, с походных кухонь, это фронт самый. А эти еще ничего. И они нам давали кусок мыла или керосин, бензин, не знаю, все, что могли, то, что мог, брали. Потому, что мы отдавали и нам давали кое-что. И мы с ней стирали вместе белье. У нее тоже двое детей.

Ну, она такая нетипичная. Она черная, правда, но глаза у нее синие, и она не очень типичная, как на цыганку. Ну, немцы, они не различали тогда. Это различали наши. Я боялась больше всего это наших, потому, что я не знаю, кто он такой, он и выдаст? Мы с ней вместе ходили, а потом нам сделали гетто. До этого, как мы стирали белье, мы там были три месяца.

В Гомеле жил мой двоюродный дядя. Я решила, это очень далеко от нас, где мы тут остановились. Я решила навестить туда. Я с детьми пришла туда, и мне говорят, там живет с его деревни какой-то мужик-- Сидор, или как его звали, и он в полицае служит. А в маленькой комнатушке жила старушечка, там три комнаты. И я зашла к старушечке и я говорю, где этот жил этот.

«Ой, дочка ты моя,» она говорит. «Ты никому не рассказывай, ты не похожа даже на еврейку. Никому не говори, а то...и уходи сразу отсюда. А то он тебя убьет, он же служит у полицаев, этот самый мужик. Он занял всю его,» говорит, «квартиру дядину, всю обстановку. Даже ничего не взяв, дядя эвакуировался. Они там умерли.» Значит, в эвакуации. «У них,» говорит, «он служит и никому не показывайся ему, не показывайся. Иди отсюда, иди, понимаешь, он убьет. Ну, давай, я тебя раньше накормлю.»

И вот эта старушка, и я потом к ней заходила, когда кончилась война и я ей что могла, ничего у меня не было, и я ей все принесла, целовала ее. А эта умерла, говорят, эта Надя. Она была такая больная. Ну, в общем, я к ней заходила, там пуговицы нужны были, я вспорола, я отдала все, что я могла. Она меня накормила борщом, и говорит, «Никому не говори, никому, что ты еврей, ты не похожа.»

2129 И вдруг заходит он, этот, как его звали, я не помню. Он заходит и говорит, «А это ты что?» Я говорю, «Я племянница (counter 261)» «М-гм. Ну так, откуда ж ты идешь?» Я говорю, «Я вот, мы были в западной Белоруссии,» я говорю, «жили, в Польше. Всех нас эвакуировали и я прямо сюда пришла; я думала, что они здесь.»

И потом он сразу ушел. И она говорит, это он ушел доложить в полицию, чтоб вас убили тут. Беги, куда глаза глядят. Я поела этот борщ с детьми и схватила детей, ничего не было. Думала, куда пойти, там ближайшая деревня, но через нее надо пройти такое болото. И я с детьми пошла, и разразилась жуткая гроза. И ноги утопали вот до сих пор в грязи, так вот идешь и я уже не дойду. Я чувствую, что я свижу

церковку там, но потом я решила, что в деревне друг друга знают, а тут мы спрятались, там тоже наверно кто-то выдаст.

И я вернулась. Гроза! Дождь проливной! Я одного мальчика два годика на руках, а четыре годика тащится за полу. А я шла, шла. Потом пошла уже сюда и боялась заходить--я мимо дома прошла. Пошла на главную улицу там--это Интернациональная называлась. И зашла, там был техникум когда-то. И зашла вот в этот техникум, так там уже заняли тоже эти приезжие беженцы. Полно было из западной Белоруссии, все бежали с Польши. И вот они пришли, и явижу там много народа. И я стала проситься на улице, там на дворе. Я говорю, возьмите нас переночевать, гроза, и мы все промокшие и все, только переночевать. Я решила опять идти к этой Наде. А там все остались, и она говорит, «Под столом, если.» Мы улеглись с детьми под стол на кухне. А к ней пришли немцы, они там выпивали, они картошку жарили и все. Дети у меня маленькие, начинают говорить. Говорю, «Тише, тише, чтоб не слыхали, что мы под столом.» И мы как-то ночь эту не спали и пережили и дети понимали и не плакали. Пережили еле ночью, под утро, как началось светать,-- я с детьми еще рано нельзя идти, а то заметят, что кто-то там ходит--когда начали люди ходить. Боялась по улицам ходить и я пошла обратно к Наде к этой, где мама была и все эти там беженцы.

Я когда пришла, они мне говорят, «Ой, как ты похудела. Тебя даже не узнать.» Вот за это время, что я была здесь, у дяди этот, и я удрала прямо из-под его руки--он хотел меня выдать, чтоб меня убили, понимаете. Ну, а потом я ему в это вспомнила, я его нашла. Когда дядя вернулся и он поехал к нему в деревню, он ушел, побоялся, когда наши пришли. Так, я его увидала. Я ему как надо сказала тогда: «Фашист,

ты!» я говорю. Как можно не оставить ночевать? Я боялась. Полицай вот молчал, но в то же время я его боялась, потому что он застрелить может, у него наган. Он был жуткий.

Ну, в общем так, когда мы пришли, я решила, пусть меня убьют, но больше я никуда не пойду. Никуда, не с детьми. И вот, когда мы пожили немножко с этой вот, стирали, вдруг, днем, мы были дома, приходит немец с переводчицей старенькой, с ищейкой-собакой. И говорят, «Тут-то живет жидовка с двумя жидалями. Кто из вас?» А мы: тут много, и вот она с двумя детьми. А я, значит, одела платок, Вите одела это вот, тоже у него черный волос. И Лене. «Кто из вас?» И он говорит, «Это вы?» Он так стал каждого тыкать. Она говорит, «А это эвакуированные две женщины»--это Надя, понимаете? Она это понимала, а эта говорит, «Это эвакуированные две женщины, они русские.»

«Ладно. Вот эта пойдет со мной,» и взяли не меня, а ее. Понимаете, а должны были взять меня. Почему? Потому что, когда мы пришли с мамой, соседей не было, а напротив жил Шмидт--он немец по национальности, но житель Гомеля. Он работал на электростанции. Но когда немцы пришли, он их только и ждал. Он свою квартиру отдал, и у него был электрический свет, у него музыка гремела, у него все было.

И вдруг она пришла и говорит, «Я здесь с женой Бориной и с двумя детками. Вот мы живем тут напротив.» Представляете? Я его совершенно не знала, и он меня. А сама она! Прислали с деревни там. Кто-то приехал навестить этих под колючей пров[олокой] в лагере. Собрали всех мужчин, так там один из них ушел в деревню. Потом он пришел в лагерь, и он сказал. Она спросила, кто там живет? И так там живет ее двоюродный племянник. И что он спросил, если кто есть в

Гомеле, пусть приедет к ним. Им коровы раздали ему, совхозы распустились, а это все.

Так она говорит, вот как раз праздник, эти еврейские праздники осенние, новогодние. Я пойду туда, а потом если там будет хорошо, так я тебе сообщу и ты придешь, тут с лагеря многие ходят. Ну так мы и решили. И она с этим мужиком поехала туда--это станция Буда-Кошелевская. А с Буда-Кошелевской еще семь километров надо пешком в Рубичи, деревня Рубичи, но это не важно. Ну вот, она приехала туда в эту Буда-Кошелевскую, там эти племянники. Ну, они ее хорошо приняли. До нового года там было хорошо. Все раздали, ничего. А как эсэсовцы пришли и полицей, так стали собирать евреев и всех там расстреляли в январе. Понимаете? Ее там расстреляли. Вот. Я ничего не знала, это я потом уже узнала.

А мне говорят эти беженцы, вот эта, с которой я стирала белье. Она сначала меня боялась, и не говорила, кто она по национальности. А я-то уже сказала. Она знает, что это племянник тут живет. Но когда я у нее заслужила доверия, с ней стирала и с детьми делила хлеб по полам и все, так она мне сказала, что она тоже еврейка. Но я так и думала, что она да, но раз она не говорит, я не хотела у нее спрашивать.

Ну вот, потом мы с ней до ноября месяца--это три месяца--пожили в Гомеле, а он пришел, этот немец, и взял ее. Когда он ее взял, эта Надя говорит, «Уходи отсюда. Беги, куда глаза глядят, а то и меня заберут из-за вас.» Но куда бежать? И под вечер, и куда? Дети здесь остались, ее взяли одну. Мои дети, ее дети расплакались, шум подняли. Мы знали ведь. И он взял одну ее только, пока. Значит, ее забрали, а я побежала,

некуда бежать. На вокзале стояли железнодорожные школы--там была конюшня немецкая, они поставили лошадей, они отправляли их на фронт.

Потом видно забрали так соломой, и пахнуло и все эта гадость. Так я их посадила на солому, а сама бегала узнавать, где она. У меня душа разрывалась, потому что я знала, что это меня должны были взять.

Потому что этот же знал наверно, этот Шмидт. Мама сказала....

Я стала бегать, добегала даже до самой квартиры, это далеко от вокзала. И пришла в окно и говорю, «Нет Сони?» «Ее еще нет.» Ее тоже Соню звали. Она: «Беги, чтоб не смела....» А я имела такую глупость, но все время я думала, что я сама все равно не выживу. И я ей сказала, «Скажи, что мы на вокзале.» А вдруг бы пришли немцы за мной, она бы сказала, что она ушла на вокзал. Но я жизнью не дорожила и думала, что если нет, так пусть и меня убьет. И в общем я сказала, «Скажи, что я на вокзале с детьми.»

Вот, значит, я ушла. Потом несколько раз выбегала, оставляла детей одних, они плакали. Потом, поздно уже вечером, уже темно было, я же сказала еще на вокзале, итак она ей сказала, и ее выпустили. И мы с ней встретились на улице--как мы плакали, вы не представляете. Как мы обнялись, как мы целовались! И я ее потащила в конюшню эту и детей посадили.

А до этого что-то упустила. Да, когда ее привели в полицию, сидел следователь, вот с таким носом. Она зашла, ее, значит, впихнули, и еще сидел один. И говорит, «Гут морген, швестер»--«Здравствуй, сестра.» Она молчит. «Что притворяешься? Все вы тут узбечки и чичмечки. Теперь вы все,» говорит, «это не евреи.»

Она говорит, «Ну и что? А я и есть не еврейка.»

А у нее была справка «Лисицкая.» Я по ней взяла в Барановичах, мы еще с ней--она заранее брала. Вот и я, она мне велела это сделать.

Она говорит, «Я не еврейка.»

«Видать по твоему носу, кто ты.»

Она говорит, «А по твоему скорее скажешь, кто ты.»

Он так изумился, что как она это так смело. Значит, наверное, что-то есть, что она так смело отвечает. И потом он ее уличил в какой-то ошибке в слове, а она ему сказала, что «Нет, так пишется. Нет, это вы не знаете,» в общем, она так. Но он ее терроризировал и все время он задавал такие вопросы, откуда и что. Она говорит, «Я сама из Брянска. Вот, пустите меня, там мои родители, можете со мной поехать, и вы увидите, что я русская,» и в общем говорила и говорила.

А этот, который сидел, он говорит, «Нет, эта нет, а эту, я не знаю.»

То он ее смотрел. Значит, он ходил по дворам и он меня увидел а и запечатлел меня с детьми. И говорит, нет, это--. Если бы это я была, все--я бы там уже не вышла оттуда, и детей бы принесли и все. А поскольку она была, так он говорит, «Нет, эта я не знаю, эта не та.» Ну, и поскольку она так отрицала и так смело себя вела, он ее отпустил-- «Ну, ладно, иди. Ты все равно у нас,» мол. И пустил. Вот тогда она побежала на вокзал, пришла. Надя ей сказала, что я на вокзале, и прибежала. Мы тогда обнялись, пришли и начали искать квартиру. Как же мы будем в конюшне, а вдруг немцы обнаружат: Что это такое? Почему мы прячемся? Зачем это мы не в квартире?

Ну, тамошние железнодорожные дома стояли. Мы зашли в один дом, полно немцев, картошка варится. Мы зашли и говорим, что мы сами из Орла, мы ждем, может быть нас возьмут, подвезут, здесь же железная

дорога. А нам сказали, что поезда идут на фронт, а фронт уже был под Орлом--так стремительно шла наша армия. И мы сами, говорит, из Орла. Это я говорю, «Мы ждем. Может быть нас кто-нибудь подвезет? Пустите нас переночевать, нам негде, мы вот с детьми, оборваны, в кожухах, в лаптях.» Она говорит, «Ну, на кухне под столом, тоже.» Я говорю, «Ну, хорошо.» И вот она все-таки детям дала пару картошин, они поели, легли под стол, так заснули прямо как снопы. Наплакались весь день, сами в этой конюшне, я все бегала искать. Потом и ее взяли и мы все--у нее двое детей, у меня двое детей, мы уж вдвоем.

Потом, значит, мы стали у немцев--а, мы уложили детей, и я стала бегать, она сидит там с детьми под столом. И я стала бегать узнавать, стоял эшелон пустой. Куда этот эшелон? Они сказали, на фронт. Куда на фронт? "Nach Oriel." «На Орел.» Мы так обрадовались. Я говорю, «Возьмите, мы сами орловские. Приехали сюда в гости, мужей наших забрали. Сталин забрал,» мы сказали. «Мы не можем домой попасть, мы голые и босые, и ничего у нас здесь нет.»

«К шеф поезда,» один сказал. Ну, это который сопровождает поезд--они немцы нейтральны. Мы подбежали в первый вагон, там шеф поезда, молодой какой-то парнишка. И я стала по-немецки говорить: с детьми, вся порвана, ободрана, и эту взяла с собой. Говорю, «Вот, мы едем, мы с Орла сами. Я вас умоляю,» мол, я ему по-немецки говорю, «Возьмите нас.» Он говорит, что тут лошади едут. Мы лошадей туда отправляем. В этих вагонах тут палка и тут заграждение, а тут по четыре лошади, по три, не помню. Так, он говорит, «Ну, с лошадьми поедете?» Мы говорим, «Да.» Мы от смерти; бежишь, куда угодно. Он говорит, «Ну, так это

поезд пойдет--когда, проследите! Так, в одной из теплушек вас возьмут.» Он сказал кому-то там на какой-то....

Ну, я пошла, мы уж ночь не спали, где там? Бегали узнавать или уходит поезд, а то он ушел, а мы проспали.. Куда--мы вообще не спали ночами. Ну, и мы пришли, только в шесть утра этот поезд тронулся. И до этого, как он должен был, мы видели, все немцы собираются--все, мы тоже пошли. Один какой-то из немцев-- я спросила, когда он уезжает-- он говорит, «Вот в шесть утра.» Я стала просить, умолять, чтобы нам помогли. И уже лошади стояли и все, чтобы нам помогли в этот проем, где с этой стороны лошади и с этой, а тут дорожка такая, чтобы нас в эту дорожку.

Ну, нам правда помогли, помогли детей туда всунуть. Мы детей сами туда всунули и с ней вдвоем по очереди в дорожку. Ну, нам помогли, я не помню. Ну, наверно, кто-то из них помогли нам, потому что они же высокие эти, помогли нам. И мы влезли туда. Лошади стоят, но когда тронулся поезд, мы отнялись и так плакали. Ну, теперь мы будем живы, мы сказали. Если мы удрали от собаки, переводчика, и еще от ищейки, мы будем живы, понимаете. Вот так мы уверенно сказали, что теперь мы будем живы, потому что в Гомеле они знают все, и этот ведь особенно. И поезд тронулся и мы были так рады.

Ужас. По дороге ничего было есть. В Брянске, в брянских лесах партизаны бомбили. Мы рады были, чтоб нас убили [плачут] мы рады были, что нас...в поезд бы бомбу бросили, что угодно. Самолет летал, все боялись останавливаются поезда--мы и радовались, потому что нам надоело так жить.

В Брянске мы спрыгнули с поезда и просили кусочек хлеба у немцев.

"Sol Wieso Zivil? Zivil?" Откуда вы взялись? Поезд военный, а вы гражданские. "Zivil"--это граждан. Откуда цивил, кричали. Кто давал, а кто не давал. Но собирали несколько этих горбушек хлеба, и кто-то дал даже сахар. И мы влезли, уж мы помогали друг другу, влезли как-нибудь. Как мы это--молодость все берет. Влезли в вагон, в этот, в теплушку.

3140 По дороге мне эта лошадь брыкнула и выбила зуб--это у меня стальной зуб, тут вот. И выбила зуб, а все мы терпели, чтобы удрать из Гомеля. Приехали. Поезд шел наверно трое суток, я не знаю, очень медленно. Бомбили всю дорогу, тут брянские леса и все и фронт неподалеку. И бомбили ужасно. Но мы все-таки доехали до станции Орел.

И нас высадили прямо, как лошадей. Их куда-то убрали, а мы очутились на платформе. Кругом рельсы. Дождь проливной. Дети отморозили ножки. Я помню, мы попросили немножко керосину и их натирали. И вышли из этой платформы, вышли из линии и вышли на город. Но темно было уже. И в первый попавшийся дом я постучала. Еще спали--ночью мы приехали. Вышел какой-то старичок и говорит, «Что такое?» И я говорю, «Вот мы приехали с лошадьми, мы эвакуированы, мы едем в Воронеж,» мы сказали. Или в Тулу. И что, я не помню, там под Орлом? Тула? По-моему, под Орлом. Нет, мы едем в Воронеж, мы сказали. И что, мы отсюда, думаем, это близко, как-нибудь доберемся. Но пока мы с детьми, я говорю. Возьмите нас переночевать. Ну он, знаете, открыл нам дверь и впустил на печь. Ну и мы полезли. Было жарко и мы полезли на печку. И всю ночь там пробыли.

Но утром они нас накормили. Старик со старухой жил. «Тут,» говорит, «немцы много квартируют, тут фронт ведь.» Орловско-курская

дуга, там очень много лет фронт был. «Мы,» говорит, «боимся, что немцы нас заселят. Ну, идите, вот они на путь.» Поэтому он нас пустил. И вот мы у него утром поели, детей, и с детьми потом пошли искать квартиру, тоже привокзальную. А на вокзале жутко бомбили. Жутко. Но мы не боялись, мы бомбежки от наших не боялись, мы боялись только немцев, немцев и русских, конечно, больше даже. Потому что немцы представляли с таким носом, с такими пейсами, евреев. А мы же такие обрусевшие.

В общем мы пошли с детьми искать где-нибудь. Он нам указал, что вон туда, далеко от дома, он говорит, там большой дом, они пускают беженцев. Вот мы пошли туда и действительно там уже были беженцы, но они с детьми нас пустили. А тут мы там переночевали две ночи. Они подразумевали, конечно, что у меня Витя--копия еврея и все, и у нее тоже мальчик. В общем мы пошли искать квартиру. Но пошли искать кушать что-нибудь. Но кушать негде, так там этих-то детей они как-то, немножко накормили. Беженцев много было, а мы-то голодные совсем.

Пошли, и вот домик там стоял в стороне, отдельный домик. Там жила латышка, и муж ее был грузин. Ну, они во время войны почему-то очутились в Орле, я не помню, каким образом. И они имели этот домик. Мужа ее забрали. Она жила совсем одна--девочка у нее одиннадцати лет была. Она пришла в тот дом, где беженцы и сказала, «Ну вот, эту пару я возьму с четырьмя детьми.» Будут мои свидки. Это ну спросили, кем мы работаем, кто мы такие, видит, интеллигенты. «Я их возьму. Это русские вы?» «Русские,» мы сказали. Уже у нас был этот документ, что мы не русские, но Гидурская, все-таки не Гинзбурская.

В общем, она говорит, «Ну, эту пару я..., у меня пустой дом. Еще не дай бог придут немцы,» говорит. «Я боюсь. Идемте, девчата, ко мне,» она нам говорит. И она забрала. Понимаете? А это как соседи там те жили, она их знала. Она нас забрала к ней. И вот мы у нее прожили два года при немецкой оккупации. Мы больше прожили.

Потом мы уже бежали оттуда--боялись. Прожили два года, но знаете, и ходили, значит, на платформу мыть походные кухни, котлы мыть, стирать, и нам дали котелок, по котелку, с ней, и каждый раз наливали суп детям. И мы приносили, делили на всех и мы ее содержали фактически с девочкой. И мы ели ж там чечевицы там, или давали нам чечевицу и дети заболели от нее--ой, было там дело. И гнилую картошку, привозили им картошку, уже морозы были. Так, гнилую, сладкую они нам отбрасывали. Очистки мыли, через мясорубку пропускали.

Но топиться нечем было. Итак мы это корчевали, где только пинек увидим. Немцы же бомбили, а в деревне пни оставались. Так мы с трудом вытаскивали, выковыривали, и мы приносили ей, она отапливала. Она уже с детьми была, кормила их, а мы приносили, мыли котлы. Мы там пообедаем, и котелки мы приносили ей и кусочек хлеба. Ну вот, имели работу, мы уже были довольны.

Но кухня же это--не вечно. Потом, значит, рядом был дом. И там был сын у них. И этот сын служил власовца--он был в отряде власовцев. Он истреблял партизаны. И, знаете, стал к нам захаживать. Тут, сказали, видели дети же, их не удержишь никак, на улице, что тут живут вот какие-то беженцы, и он стал приходить к нам. Знаете, у нас душа обрывалась, обрывалась. Как он придет, мы не знали, что делать. Мы уже

подлаживались и власовцев защищали и говорили, что вот, хорошо бы всех этих партизан поймать и всяко. Но мы в душе, у нас вкрадывалось, что он подразумевает, кто мы.

Ну, а эта говорит, «А мне все равно, кто вы.» Это она латышка была, у которой мы жили. Она молвят-то, «Мне все равно, кто вы,» говорит, «мне все равно, мне надо девчат.» И мы стали бояться, что он к нам стал заходить. Он две недели уходит убивать партизан, там на промыслы--они

3506

собирали. А две недели он дома. Ну, мы молодые были, знаете, такие, с двумя детьми, он стал захаживать. Приходит шутить и все. Тогда эта хозяйка говорит, «Вот, просятся немцы.» А хозяйка тоже боялась. Кто знает, что он может сделать, что она держит нас? Так, она говорит, «Надо впустить двух немцев, потому что вы будете там в спальне все, и вот здесь в передней надо впустить. Тогда он перестанет ходить.» Ну, мы ничего не могли вообще сказать, ну и сами мы очень боялись.

И она впустила двух немцев. Они ездили на фронт; один был как бы бухгалтер-кассир и выдавал зарплату немцам, а второй тоже кем-то там был. Такие интеллигентные немцы. Она их впустила, там две койки они принесли, и они в передней комнате сидели. Но этот, правда, когда он придет, они его гнали. И он перестал ходить к нам. Ну, все равно мы уже боялись.

Что немцев впустили, вот! А мы, говорит, хотим советскую власть уничтожить и все у нас нет. Значит, мы же не хозяева. Он понимал, что мы сами здесь, а она хозяйка, это ее дом. В общем мы так и жили--немцы впереди тут были, а мы с ней там все в спальне. Ой! Сколько мы

мучились! Но уже легче было с пищей. Хлеба, допустим, они давали. Ну, а мы все работали, суп приносили. Ну, вот так и жили, белье стирали.

Потом в Орле вышел приказ. Потом эсэсовцы пришли. Так мы вообще боялись, мы никуда не выходили. Такой порядок был: после фронта приходили эсэсовцы, истребляли евреев.

Я еще не говорила, пропустила, в Гомеле. Перед тем, как мы уезжали, установили гетто. Устроили гетто для евреев--в Гомеле, значит. Это было в сентябре-в октябре месяцы. Устроили гетто, сорок первого года. Собрали всех евреев в самый ужасный уголок. Там это назывался «Монастырек,» низменность, туда все воды стекали. И там один дом нашли--один единственный--и туда может быть сотни евреев садили. Что там творилось, и болели, и заболели, и душились, и все. И в этом доме они жили, а потом они брали на истребление, грузовиками, расстреливали. Земля прямо дышала. И вот мы с ней решили, мы же русские, мы ни за что не пойдем. И был приказ, что все евреи должны одеть желтые латы на спине, и с желтыми латами ходить. Ну, мы с ней решили--она была тоже такая настойчивая--что мы не евреи, мы не оденем ни латы, и не пойдем в гетто.

И в городе как-то пусто стало совсем. Они еще не только из Гомеля, а из Стрешина, из Чечерска, из всех Гомельской области, из всех, потому что в Гомеле уже не было евреев фактически, мало. Так они всех подобрали с области и всех в этот дом. И там нельзя было стоя стоять, уже лечь нельзя было, вот такое дело. Потом всех погрузили в грузовик, и мы видали сами--мы шли по улице, мы не могли удержаться--мы видали, как их везли на расстрел, этих. А мы шли. [плачут] Сзади нас шли какие-то женщины, «Вот эти тоже вроде похожи, но ведь они не евреи, иначе бы

их тоже забрали.» Знаете, мы это слыхали, мы думали, что мы не выдержим. Мы вернулись домой с таким плачем и все. Но никто не знал, кто мы такие, никто не мог доказать. Справки у нас были.

3224 И потом мы не показывались на улицах. Пока мы только бегали на платформы, это--стирать белье, где _____ это, походные кухни стояли. Ну, в общем при нас в Гомеле убили всех этих евреев, всех, всех, с желтыми латами, и всеми. Всех одели. [взволнована] Одна нищенка была, ходила по домам еще кусочек хлеба так, желтые латы тут и там. И как посмотрим, ой, Боже мой! И вот мы шли, мы хотели видеть. Ну, их везли куда-то там в ров. И полные машины грузовиков--стояли на грузовиках--их везли на расстрел. Вот мы уцелели, что убежали от этого, вот. А так мы может быть еще мы там побыли, так бы нас нашли. Вот это было в Гомеле.

Ну, в Орел вот, когда мы стали кушать и все, мы преиехали, значит, туда. И тогда через года полтора стали--прибыли эсэсовцы, установились полицаи, но все равно эти партизаны существовали. Столько был фронт вот под Орлом, столь мы пытались пойти в лес, чтобы с партизанами вместе. Мы видели уже это там: секретарь обкома прятался, потом уже мы жили у одних.

Они пришли. Был указ, что все, кто будет без удостоверения личности, всех будут расстреливать. Ну, как же быть? А для того, чтобы получить немецкий временный паспорт, такое удостоверение--там написано же, кто мама, какое вероисповедание. В общем, мы стали мыкаться, что делать. Кого взять двух свидетелей? Мы туда, сюда, со всеми, и в общем, вот когда судьба жить, так ничего не делаешь, будете жить. И нашли каких-то двух женщин. И мы как-то разговорились, «Вы

откуда?» Я говорю, «Мы с Воронежа.» «Ах, и мы воронежские.» «Вы там на какой улице жили?» А я подумала, что в каждом городе была Первомайская, и мы сказали, на Первомайской. Я говорю, «Мы жили на Первомайской.» Продумала, «Да, мы жили туда это подальше.» И вот, я говорю, «Знаете что, вы получили уже паспорт немецкий?» Она говорит, «Нет удостоверения.» «А мы,» я говорю, «тоже нет.» Я говорю, «Надо же поручитесь. Знаете, мы за вас поручимся, давайте, а вы за нас.» «Давайте.» Ой, они так обрадовались, и мы пошли тут же в комендатуру.

Когда мы пошли в комендатуру, сидят русские. И я дрожала. Мне кажется, вот она на моем лице видит, что я еврейка. Не знаю, я уж так стояла и подошла туда к ней, когда уже она стала выписывать. Я сначала этой поручилась, и с этой, и та, та, той. И я дрожала, что она скажет, что вы не русская. Как фамилия? Так подала это удостоверение, в мое, про справочку. Она записала меня, и написала «православная», за мать «Груня.» И детям я это передала, записала там, чтобы сказали «Груня--бабушка.» А отец «Михаил,» я уже Михайловна стала. Ну, и придумывала там, откуда я родом. Все, в общем все.

Ну, записали и выдали мне сразу удостоверение. Тогда народу было полно, шума вот. И ну и всем давали так поспорта такие немецкие. И когда мы за них, они получили и мы так, мы были счастливы. Детей вписали и все такое. Пришли домой счастливые такие, но все это несчастье. Все мы боимся показываться русским на виду. Все равно боимся. Детей не пускали. Детей я брила все два года, что я жила в Орле. У Вити моего кудрявый волос, и у Лени тоже вьются, только у него светлы. Так я брила эти, понимаете, головы. Эти немцы, которые жили у нас на квартире, они нам дали бритвочку. «Зачем?» говорят. Ну, мы

говорим, побрить так надо, порезать. И мы, значит, брили эти головы и всегда брили.

Потом мы пошли на базар, это в течение этих двух лет. Там были уже базары, устроились все, когда Орел взяли. Но все равно, под Орлом было ужасно, громили. И каждый день, горело какое-то здание, горел дом-- это партизаны поджигали--каждый божий день пожар. Мы радовались, прямо. Ну, что с этого? Мы поехали на базар, а там частная уже торговля во всю. Сидит на полу один мужичок, продает кресты. Мы с ней купили три крестика, я себе и она. И одели на веревочку детям на шею, что вот, мол, мы православные. И вот все время и всю оккупацию пока не пришли наши, мои дети и я--у меня этот крестик есть, только я с собой не взяла. И детям я дала их крестики, как талисманы, что они их сохранили наверно. [плачут]

Дети все это знали, мальчики эти, которые со мной были. И я им сделала на шею и еще выпячивала их и брила без конца. Как у меня смелости было головы брить, я боялась бы теперь бритву держать в руках. А там, я так смело, раз! и бритвой безопасной брила им головы. И они никогда не имели волос все время, с бритыми головами ходили, чтобы не были кудрявые волосы. И крестики носили. Ну и все.

Потом вот мы мыкались в этом--то мы стирали, то мы решили, что нас уже тут замечают. Так, мы переменили место, где работать. Нас посыпали здесь, начали посыпать русских снег чистить. Мы ходили на снег, нас двоих взяли, уже молодые были. Начали камни собирать там у дороги, чтобы не было. Мы ходили камни эти таскать. Потом нас послали в брянские леса, деревья пилить, корчевать. Мы оставили детей на эту, вот Галю ее звали, и поехали деревья корчевать. Мы там были--

ВОТ, не помню, сколько мы были--несколько дней, но мы измучились, и за детьми беспокоились, за детей, и пилили с мужиками деревья.

Понимаете? Корчевали для отапливания немецких помещений.

Ну вот что делалось. Потом через полгода--два года мы там были-- через полгода, после двух лет, мы стали замечать, что на нас, нам же казалось, что на нас все-таки посматривают. И этот приехал домой, и ведь полицай встречает нас у колодца--мы воды набираем. Он подошел, «Как, девчата, живете?» Мы говорим, «Да, как можно же, ничего.» «Вот немец придет, будет хорошо. Мы власовцы...я сегодня убил там столько-то партизанов,» мне говорил. В общем, мы стали замечать--а они жили напротив в домике--что нам здесь нельзя жить. Фронт подходил обратно к Орлу. То немцы отступили, а то опять приступили. Все время орловско-курская дуга была. И мы стали, понимаете, понимать, что нам надо разъединиться: слишком много детей и ну вдвоем и все время мы тут. Подозрительно на нас стали русские с домов наблюдать.

Мы так испугались. Один раз мы просто испугались, и что немец не может нас защитить, они докажут, что мы евреи. Но моим детям нечего было доказать, они не были обрезаны. А у нее мальчик был. В общем мой муж был учитель, и его мать уговорила, что, ладно, не надо, а то его выгонят из школы. Так, мы не обрезали их.

В общем, что делать? Мы стали искать, и время такое, что вот-вот. И самолеты начали летать и пушки начали грохотать и дома начали гореть, не один дом уж каждый день, а много. Мы слышим, что что-то такое должно быть и за нами придут, немцы же уйдут на фронт. Они же уйдут и мы останемся с ними одни. Мы стали в общем...мы нашли квартиры--она нашла в городе далеко и я нашла. Мы встречались тайком, понимаете.

Но есть надо было, надо было мыть кухню. Кухни уже начали собираться на фронт эти вот. Я не помню, что мы еще делали. Мы стали добывать хлеб. Сначала, мы ушли отсюда, и мы ушли в другие квартиры, пустые дома были, потому что многие уезжали. И мы сказали ей, что мы должны уехать. На Воронеж.

В: Кому вы это сказали?

О: Мы Гале сказали. Мы все-таки не сказали, хотя она к нам хорошо относилась, и ругалась, и с детьми она была. Но она такая была не националистка--латышка. Вот и мы стали ей говорить, что нам надо уехать, и что вот там машина есть и нас подвезут. Мы ее, знаете, обманули. И мы ушли от нее. Собрали детей, расцеловались, и мы ушли, и она там осталась одна в оккупации и ее наверно и не тронули.

Вот, в общем, мы стали тайком собираться, хлеба искать, просить хлеба. И там, где мы на квартире жили, так рядом была одна, которая содержала немцев. Они со склада ей принесли мешок гречихи. Так она нам немножко сыпала в кастрюльку, варили детям кашу, ни с чем, но с водой и так. В общем, как угодно пропитывались. А уж топить мы не топили, мы жили в холода, в холода, в голода, полуго лода.

Потом, значит, сказали, что сегодня ночью будет стрельба, что должны наши прийти. Это было пятого августа, под утречко.

В: Какой год?

О: Это был сорок второй год. Пятого августа, под утречко. Нет, сорок третий год. Нет, не второй, мы два с половиной года там были, сорок третий год. И в общем мы пришли туда, когда нас--вы извините, я сбиваюсь, потому что у меня голова не варит. Я уже сто раз рассказываю и вообще мне это очень тяжело.

И вот, когда мы стали жить на новой квартире, стали добывать там самый хлеб был очень тяжело нам. Мы голодали, и вдруг сказали, мы уже как-то заранее в этой квартире жили. И нам сказали, что вот-вот должны немцы прийти. Но до этого, когда мы жили на квартире, я жила у восьмидесятилетней старушки. Дочь ее эвакуировалась со всеми, она говорит, «Я никуда не поеду,» и она осталась. У нее были кругом иконы. Так, когда бомбили, страшно бомбили наши, когда начали наступать. Так она говорит, «Вот самый младший, когда поклонится иконе, так нас не разобьет, на нас бомба не упадет.» А там было, что и бомба упала у немцев. Там меня взяли на картошку. Я взяла детей туда и упала бомба на дом и фрамуга упала на ребенка. Я это все подряд не могу рассказать, я потом вспоминаю--что было вот такое.

Ну она говорит, «Витенька, иди сюда,» она его научила. «Стань на коленки и скажи «Господи, сохрани, защити от беды, нападения.» И он так делал. И как только слышит самолет, он сам бежит--ему было два годика, «Господи, сохрани, защити от беды, нападения.» Ну я, конечно, была рада, что он это так. У него спрашивали, как бабушка. Он «Груня» говорил, все как надо. А когда немцы были--там у Гали мы жили--так он подходил, "Bitte, Brod. Bitte, Brod"--это «Пожалуйста, хлеба.» Это я его научила так. Так они давали, а кто давал, кто не давал. Ну, в общем, кошмарно было.

Ну, вот там, когда упала фрамуга эта, я была на картошке--меня посыпали копать картошку. И там начали бомбить, а мои дети сидели там на полянке. Там у них трактора стояли, они же думали, что они уже все здесь, уже обосновались. Так они привезли тракторы свои и все. Техника у них была своя. Так мои дети сидели и играли и винтики раскручивали.

Так, один подошел и видел и привел его так за ухо и говорит, «Ты *Schwein!*»--это свинья. «Он--партизан»--«*Ein kleiner Partisan!*»-- маленький партизан. «И он нарочно вывинчивал шпонтики, чтобы машина не пошла.» Ой, как он это мне сказал. «Еще узнаем, кто ты,» и все такое. Я думала, что я с ума сойду. Я как стала бить их, ребят, он видел, что я рассвирепела и плачу и бью, и они кричат. Так он отошел от меня; уж он понял, что это не партизан. Этот момент был тоже ужасный. Много таких моментов было--это ж дети. Я прятала их все.

А потом, когда начали уже бомбить и перестрелка шла уже на улице, наши подвигались к городу, это моя душа была такая неспокойная. Я должна было узнать, где эта Соня--это моя подружка, с которой я белье стирала. Так, наши под мостом, а немцы с платформы друг в друга стреляли. А я между ними пролетаю. Как меня пуля не угодила, я...а они удивились. Как это я бегу! Они сами орали, кричали, что, мол, они убивали немцев, а тут, понимаете, *Zivil* появилась. И я бегу между ними и я все-таки добежала и спросила Соню. Я говорю, «Завтра придут наши. Будьте готовы! Где мы встретимся?» Нам надо было это все высказать, чтобы знать, где и что. И в общем, я все-таки добежала и я обратно бежала--стрельба уличная была, и я жива осталась. Как это так, я могла детей оставить и все? Так смело я действовала, вы представляете? Я сама диву даюсь, как я могла там действовать. Себе отчета не давала и детей оставила, и бежала между стрельбой.

Так бомбили ночью, это--нас в подвал. А на утро немцы буйствовали под утро. Перед там, как им отступать, они подушки распускали, перья сыпали, что хотите, они делали--огороды обливали, чтобы кушать нельзя было. А мы питались, что мы--под вечер, поздно, когда нет самолетов,

бегали, огороды все оставили, копали картошку, и помидоры срывали там, что было, понимаете. И вот этим питались. Воды набирали. И вот мы жили в подвале две недели. И когда должны были прийти немцы, так было ужасно, что я оставила детей. Мы еще до этого жили в церкви, под церковь. Но там сказали, что немцы знают этот подвал и придут. Итак 446 мы от него убежали. Мы там неделю жили, под церковь.

А потом я жила отдельно и она жила отдельно. Так, она где-то была там. Мы же не знали, когда точно наши придут. И вот под утро уже, чуть-чуть свет был, один вошел--наш. А тот с фонариком, стал освещать, кто здесь. Видит--дети, старики, дети, старики. Он с таким капищус 449/ накидкой этот капюшон был. Это ж был уже весной, в мае месяце--нет, в августе это было, но он с накидкой был. И он, значит, осмотрел и вышел на улицу, и я за ним выбежала из подвала и как бросилась на шею и стала целовать. [плачут] Боже мой, я никогда не забуду это, стала плакать, ужасное, ужасно. Наши освободители, и все такое. Теперь детей вывела на улицу. Как я рыдала, вы не представляете, как я бросилась, как я его целовала.

Ну и, значит, один кто-то из этих людей там же были и все Zivil, сказали, что «Ей, бедной, есть чего плакать.» Значит, что они знали, но были порядочные. Значит, это я слышала, это вот лично, «Ей, бедной, есть чего плакать.» Ну вот так мы встретили наших.

Вот все, вся история. Много чего было, как эти винтики, и как фрамуга упала на нас и бомба упала, разбомбила.

В: Про фрамугу расскажите.

О: Ну это мы бомбили. Меня послали на картошку. Я взяла детей, за это давали картошку. И там была кухня ихняя, варила, и мы там работали. И

когда наши все время бомбили Орел--Орел была прифронтовая полоса. Наши бомбили Орел и, значит, вот упала бомба. Самолет летел и упала неподалеку. И осколком вывело, воздухом вывело фрамугу, и эта фрамуга--рядом стояла кроватка. Леня спал ночь, и на него, он даже не дышал несколько минут, думали, что все. Но потом он задышал, отошел, понимаете. Когда суждено, так суждено.

О, Боже мой, ой, сколько мы пережили! Это я вам часть, частицу передаю за два с половиной года. Сколько мы пережили. И живы остались.

Потом, значит, я стала разыскивать своего мужа. Потом мы встретились с этой Соней, с этой, сразу же мы встретили. Потом мы пошли к Гале жить. Ну мы с ней рас прощались. Потом она говорит, «А я янала, кто вы, но мне все равно,» она говорит. Потом мы разыскали.... Прибыло на почте письмо. Я написала, сказали, что в Бугуруслане там пункт, где разыскивают эвакуированных. Я туда написала в Бугуруслан, потом еще куда-то, там сказали. И я там написала, «Дорогие там товарищи! Напишите, мой муж работал в Белостоке в железнодорожной школе, директором школы, был вызван на фронт. Мы с ним разошлись. Жив ли, напишите. Может быть, вы знаете о его жизни, может быть он там жив.» Потом написала в Бугуруслан в бюро эвакуации, что, ну, думаю, может он не жив, так не знают. Так, я написала, у мужа две сестры. Я же была в Гомеле, и они мне сказали, что они эвакуировались. И я написала, что я разыскиваю двух сестер по фамилии Гинзбурская, и я прошу ответить. Может быть, вы знаете их местонахождение?

И мне ответили, «Дорогая Софья Михайловна!»--я уже Михайловна была с этим удостоверением. «Я вас уведомляю, что ваш муж жив и

здоров и работает директором школы в Чкаловской области. Тут еще был немец как раз, или его разруха. А сестры находятся там.» Но перед этим, как мне сообщили о муже, перед этим мне сообщили, что одна сестра работала в цензуре, в Бугуруслане. И она мой почерк узнала и стала просить начальника открыть письмо. А он не дает, там цензура строгая, если она эти конверты сортировала. А она говорит, « Я вас уверяю, что это моя заловка.» И вот, когда открыли, и вот и ее, понимаете, так она позвонила мужу и муж не верил. Мужу она сказала, «Да, да, я тебе покажу, приезжай ко мне, почерк Сони.»

Тогда адрес я там указала, и прислали в Орел целый пакет и мне роман писем от всех, кой эвакуированные, которые знакомы были и вообще найдены. Он разыскивал нас везде. Он разыскивал через газету «Известия,» через газету «Правда,» он разыскивал через все газеты, в детские дома. Он думал, может быть меня нет, но детей, может быть, он найдет. Детей разыскивал, так он-то года рождения, и имя, и все. И одной он написал, одна Софья Моисеевна, что-то он где-то прочел, кому он написал, что-то такое. Так она написала, «Я жена-то не ваша. Я Софья Моисеевна, но я не Гинзбурская.» А ему показалось, что может быть я сменила фамилию, может что.

Он нас везде разыскивал. Нигде. Ну а потом, когда он нас нашел, мы еще не так скоро--денег не было. Картошка 400 рублей мешок по тем деньгам. Но я не помню, кто-то нам дал часть, а кто мы продали там эти--у нас не было собственно говоря, ничего такого. Я не помню, как у нас была картошка, так мы продали эту картошку. Эту картошку я не продала. Я оставила. Она еще не нашла мужа, а я нашла. И я оставила ей. И все детское, что было на них--они приехали голые и босые вообще-

-ЭТИ ЧУНКИ, ЭТИ ВСЕ Я ЕЙ ОСТАВИЛА. Я ДУМАЮ, ЧТО Я ЖЕ НАШЛА МУЖА, ТАК ВСЕ У МЕНЯ БУДЕТ. Ну, она потом через долгое время нашла, она нашла мужа, она умерла. Муж имел другую. В общем, у нее жизнь не сложилась с мужем и она умерла. Так вот. Он занимал полячку какую-то. Но она приезжала ко мне в Ленинград. Она мне писала, «Моя дорогая сестра»-- она меня сестрой называла. Я и все оставила ей.

Приехала к мужу голая и босая--ой--грязная, страшная. Он нам выслал деньги на дорогу. Ах, вот что. Он нам выслал деньги, а на дорогу эти деньги остались, и я купила картошку. И я оставила ей деньги, и отдала ей все, все, что могла. Вот и так получилось, что мы встретились с мужем. Вот все--наша история. Ну, конечно, я это скомкала.

А потом, когда я приехала с ним в Гомель, мне это все свежо в памяти и все было писано про фашистов, Эренбург тогда очень писал. Так мне сказали, напиши Эренбургу, он напечатает это в журнале. Ну, я рассказывала, как все заинтересовались, каждому я рассказывала, как я прожила и где и как я сохранилась--крестики эти и все. В общем, так я написала Эренбургу.

Но потом мы из Гомеля уехали в Ленинград, потому что работы не было в Гомеле и я девушкой жила в Ленинграде, в детском доме там была. У меня там две сестры были, но одна была на фронте--она умерла уже--а вторая так в эвакуации в Чкалове. Так мы поехали в Гомель, потом в Ленинград, очень мытарствовали. Квартиры не были, жили на сортировочной, потом еще дальше, пока мой муж нашел кой-какую работу. Ну и вот я стала писать под впечатлением.

Да, вот я еще не рассказала финал. Я приехала когда в Чкалов к мужу, мне надо было получить паспорт. Я пошла к начальнику паспортного стола. «А что у вас есть?» Я говорю, «Вот немецкое удостоверение.» «Вы были в оккупации?» Я говорю, «Да.» «Ой, ой, ой, ой. Напишите объяснительную записку, как вы это, и как вы получили это, вот тогда мы выдадим вам паспорт.» Я села и написала большую объяснительную записку. Ну, написала кое-что так. Он когда прочел, он сказал--так мне по плечу, «Вы героиня женщина, о вас в истории будет написано.»

Ну вот, когда мы приехали в Ленинград, так стали не прописывать всех, кто был в оккупации. В паспортах у всех была отметка, кто с оккупации, там в углу какой-то треугольник, где-то на какой-то странице. Так что Ленинград не принимал из оккупации. Понимаете? Ну и мне сказали, «Что тебе надо, чтобы тебя...выгнали? Молчи!» Ну и я оставила, и вот так оно осталось. Вот, это дело.

Но этот начальник сказал, «Какую вам национальность дать?» Как он был поражен мной. Он говорит, «Ну, героиня, какую национальность вы хотите? Какую хотите, я вам дам.» Потому что в паспорте написано «православная» в удостоверении немецком. Я говорю, «Только еврейка, только. Я свою национальность не менять.» Ну и дети, вот, конечно, потом и в аспирантуру не поступил, мой старший, а этот тоже не мог поступить в институт--он два института окончил. Этот же поэт у меня Витя. Виктор Гир. Вы знаете, «Поговори со мной, мама?» «Дарите женщинам цветы,» «Зорька алая?» Это все моего сына. У меня есть сборник этот--я не принесла. Вот этот у меня поэт. Он в Израиле редактор газеты местной. Потом он ездит на концерты, дает свои песни.

Толкунова все пела, с Морозовым. Первое, что она получила, это «Поговори со мной, мама»--заслуженная учительница СССР. Это с этой песни. Она с ним целуется и со мной, и мы с ней в самых хороших отношениях. Ну, этот у меня поэт и редактор газеты. Он еще окончил и финансовый институт и окончил филологическое отделение университета--вечернего, в дневной не брали. Ну, с большим трудом, поскольку он поэт, он в вечерний поступил.

А старший у меня был главный специалист строительного института. Сейчас он устроился, через два года. Полтора года они в Израиле. Он устроился инженером и им очень хозяин доволен. Он прямо пишет, что имею удовольствие от работ. У этого две девочки, учатся уже в университете. Младшая--поэтесса, у меня есть сборник, ее стихи там. И в Ленинграде она уже давала концерты. Она уже была известная. А старшая в университете, тоже учится. Они все пишут стихи. И у меня еще одна внучка пишет и сын, и вот эта дочка такие поэмы пишет. Как день рождения, так всегда на работе просили, чтоб она писала. Все пишут стихи. Вот так, такая жизнь.

И теперь, пришлось ехать, так она не захотела в Израиль, а эти поехали в Израиль. Думали, что мы сюда не попадем. Не дождались, понимаете, вызова, и уехали в Израиль. У нас было жуткое такое отношение, его однажды закрыли, были на радио, при Брежневе, в Ленинграде. Это тоже будет? Ой, нет, не надо.

В: (неразборчиво)

О: Это при Брежневе. А потом все-таки он со своими стихами прошел всю страну, все его знают. И сейчас его опера идет, «Замок,» по Цвейгу. Уже вот шла премьера в Петрозаводске. И сказку детскую он написал,

тоже по телевидению все время передают. Это история Кота Филофея.
Ну, а этот у меня видно будет тоже главный, он очень хороший
специалист-инженер. Невестка одна--врач, другая--экономист. Одна не
может устроиться, другая в больнице на полставке. У меня дочка--
А И музикальный работник. Ну, а правнучка ^и две у меня. Одна в третий класс
ходит, другой три года. Вот вся наша история.

Да, я с доченькой, сюда дочка хотела. В Израиль, она сказала, что
она там не устроится, и жилья на двоих нет, а тут дядя и ее братом
~~SOZO~~ _____ нас позвал и нас пустили. А дети не дождались и уехали, вот
мы очутились врозь.

А он напечатал в газете, а с той газеты напечатали здесь во Взгляде,
в этой газете. За 15-ое число. Вот это я написала, потому что оригинал
пожелтелый, еле-еле жив с 45-ого года. Крестики не хотела отдать. А
это я послала в Германию, но не знаю, вряд ли что-нибудь получится. Я
там написала, «благодаря любимого товарища Сталина и Красной
армии»--они будут там смеяться. Тогда без Сталина нельзя было ни
одного слова писать. Ну вот, все.

Ой, пережито очень, очень много! То я часть, частицу рассказала.
Сколько было нюансов, сколько было моментов, когда под смертью вот
посмотрят на тебя не так, уже вот придут на виселицу. Но мы думали,
лучше пускай разбомбят, чем от рук немцев кровавых этих убийц, что мы
погибли. Лучше пусть нас разбомбят, и поэтому были рады, когда
самолеты летали и бомбили. Нам жизнь была недорога. Вот такие дела.
Вот все.

В: Я бы хотела спросить еще. (неразб) вопрос. Соня Лисицкая--
ее настоящая фамилия?

О: Глатман, Глатман.

В: Глатман?

О: Да. Софья Захаровна Глатман.

В: А детей как звали?

О: Ира и Марик. А у меня Леня и Витя.

В: Да. А она какого года рождение?

О: Она может быть на год старше меня. Она 14ого наверно или 13ого.

В Я сейчас посмотрю (неразб)

О: Пожалуйста, пожалуйста.

В: Я....по началу хотела просто. Значит, папу звали Моисей?

О: Моисей Яковлевич Ротин. Мама у меня вторая. Ее звали Ходы, Годы, Галей мы ее звали, не знаю, Абрамовна. Но маму настоящую--Кузнецова, Ева Абрамовна. Вот Ева моя--Хава, Хава ее звали, Хава. Она Хава.

В: Это ваша мама (неразб)

О: Да, да, да, да. Она родила и умерла, когда мне было 5 лет, может быть.

В: А значит, мама была вторая Хава?

О: Нет, это первая Хава. Хава моя мама. А эту я не считаю. Мы уехали.

В: А вы, когда родились?

О: Я родилась 27ого декабря, 15ого года. Мне 76 лет и будет в конце года 77. А девочка вот родилась после войны. Вот все. Я привязана к ней, и я ее одну не хотела оставить, раз она не хотела в Израиль--дети меня звали. Ну, поскольку она одна остается, так я решила с ней остаться. Потом мы уехали сюда вдвоем.

В: Сколько времени вы здесь?

О: Восемь месяцев. Мало. Она язык изучает уже так, ничего, умеет понимать многое. А еще компьютер она ходит. А потом на машинке старается на английском шрифте. Ну вот так живем, стоскуем, пока что.

В: О вот тот дедушка в Гомеле, которому вас посылали, его как звали?

5201 О: Ильянкив _____ Ротин.

В: Он был Ротин?

О: Ротин, да. И пapa был Ротин и я Ротина была, Софья Моисеевна. Но сейчас я....Даже в ЗАГСе у меня свидетельство ЗАГСа «Софья Моисеевна» написано. Но мне надо было ехать, а тут «Софья Моисеевна», а так «Софья Михайловна» в паспорте. Тоже была волокита. Ну, я же не объясню каждому, в чем дело. Ой, вы знаете, когда...это не будет на телевизоре?

[Р.Г.: Нет.]

О: Перед тем, как пришла собака с немцем, с ищейкой с этой, и с переводчицей, я так верю во сны--в карты нет. Мне снился сон, что я в проволочном заграждении--там у немцев все в проволочных заграж...лагерях были--что я нахожусь в проволочном заграждении. Я попала туда, как, не знаю. В гумнице за мной красная корова, с рогами. И вот она берет меня на рога. Она за мной, и я кругом и так и так, все время кружится. И я уже вижу, что вот она меня берет на рога. И вдруг я так бросилась на эту проволоку, разорвала все на себя, расцарапала все тело, и выломала это заграждение и выпрыгнула из проволоки. Знаете, вот в этот день за нами пришли с собакой. Это просто удивительно, как мне это приснилось. Вот я веровалась, когда я ехала с лошадьми. Ой, сколько мы плакали, когда поезд тронулся. Боже мой! Детям было

сколько лет! Ой. Теперь они уже немолодые; старшему сыну 55, исполнилось младшему 53. Вот, а эта уже послевоенная. Это все, ну все. Вопросы есть?

В: (неразб) Вот, с самого детства, просто. Как ваша семья жила? Еврейские соблюдались традиций?

О: Дедушка соблюдал, все время. Да и дедушка и бабушка рассказывали мне, почему пурим справляют, что мы были....Дедушка все время соблюдал. А папа под старость стал соблюдать тоже, папа тоже соблюдал, но уже когда стал пожилой. А так я жила все время у дедушки, и в Ленинград в 15 лет приехала от дедушки. Потому что у меня была Мачеха. Она всех разогнала, не хотела, тоже жизнь была. Это не будет на телевидении?

В: На пленке будет, но на телевизор мы пустим маленькую программу, и на телевизоре это очень (неразб). Но на пленке пусть это будет, это же важно.

О: Потому что не было мамы, да.

В: А вы чувствовали, что вы еврейская девочка?

О: Да, как же! Сына моего не взяли в аспирантуру. У него светлая голова. Он мастер по шахматам в Союзе был, второе место занимал. Со всем миром переписывался по шахматам. Его не взяли в аспирантуру... Главное, чтоб допустили к экзаменам, как-нибудь. И сдал все на пять-- английский даже на пять. Столько он трудился, ночами не спал! И потом он пришел однажды и видит, что в ящике все его документы: «отказать» написано. Даже кого-то прислали специально, чтоб бросили, потому что письмом не пришлешь--там автобиография, метрики, все там,

свидетельство о здоровье, все. Так они в папке положили к нему в ящик. Не приняли в аспирантуру.

А младшего на работу не принимали, и ее тоже. Ей прямо сказали, «Что вы ходите? Вы же знаете, что евреев не берут.» Ну, потом стало легче. Потом вот, что делали.

В: А вот в детстве, в вашем детстве, потому что вы 15ого года...

О: Да, да.

В: Вы росли, вы ощущали себя еврейкой?

О: А как же? Все время, как же. Ощущала. Ну, конечно, когда я жила в Ленинграде у жены у дедушки, так не у кого было это вот. Но потом, когда я уже с мужем жила, так были еврейские семьи, которые нас приглашали на первый седер, на Рошошону, там ходили мыться

5378 _____ И бывало, я каждый год постила. У меня зарок, что если я останусь жива--когда я была у немцев--что если я останусь жива, я буду всегда йом-киппер постить, всегда. И с 45ого года--тогда я не постила--всегда постила. Я не знаю, даже болела, и все равно постила, всегда, по сей день. Постила. Это знак того, что я с детьми осталась жива. Вот, всегда постила. И ходила в этот день в синагогу. У нас в Сталинграде одна синагога, большая, красивая. Вот я ходила каждый раз, я на

5400 симхастыре _____ не ходила, там народу и..., и в соэто

5403 _____ я ходила и поминала папу и давала деньги на синагогу, и ходила каждый год. И каждый год постила. И это до сих пор так, и в этом году и везде я пошу с тех пор, как я была в оккупации. А до оккупации я не соблюдала. И в субботу я ничего не делаю, не стираю, не шью, тоже соблюдаю. Ну, в синагогу не хожу, потому что у меня нога

болит, и некому меня водить. И я по-американски не говорю, а дочка занята, куда же? А меня и так ко всем врачам водят. Вот так. Ощущала, как же. Все время ощущаю. Вот такие дела.

В: А мужа, как имя полностью?

О: Боря. Борис его звали. Борис, его так и звали.

В: А по отчеству?

О: Борис Абрамович. Он преподаватель математики.

В: Борис Абрамович Гинзбурский.

О: Гинзбурский, и я Гинзбурская, а девичья--Ротина.

В: А он какого года?

О: Он 14ого. Он умер три года тому назад.

В: В Ленинграде?

О: Да. Умер, рано умер. 73 года. Вот все. Он очень много работал. Чтобы прокормить троих детей, надо было учить. У нас все дети получили высшее образование. Надо было тяжело--я мало работала, потому что я с детьми находилась, воспитывала. Они у меня воспитаны, очень хорошие, деликатные. Все о них отзываются очень лестно. Дети у меня очень хорошие, интеллигенты--все. Я фотографии не взяла, вы бы посмотрели. Пишут часто, звонят, ну, что того? Разъединилась, я тоскую, я не могу внучек и все, правнучки, вся семья, мы только вдвоем. Мне не с кем общаться. Это все. Дядя старенький, ему 80 лет. Вот так.

В: Сейчас я забыла спросить. Вот вы спасались с ребятами, с Витей и...

О: И с Леней.

В: Витя какого года рождение?

О: Витя--39ого, а Леня--37ого. Витя 17ого января 39ого года, 10 месяцев он, а Леня 10ого апреля 37ого года.

В: А свекрови, как имя?

О: А свекровь--Гиссер, Лиза Горелик.

В: (неразб)

О: Да, да, да. По мужу Гинзбурская. Она Гиссер, а отчества я не знаю.

В: А с ней что стало потом?

О: Она же поехала к родственникам, туда, в деревню. Сначала очень хорошо было, коровы раздали и все. Но когда ушли немцы, пришли эсэсовцы. Так они собрали так же, как в Гомеле, всех евреев--но там была деревня, там мало было--и всех убили.

В: И всех убили. И ее?

О: И ее. Она же жила с племянником. Она мне написала, чтобы я приехала, что тут хорошо и все. Но меня отговорила вот эта женщина Соня, с которой мы стирали белье, и там беженцы были. «Куда ты поедешь? Везде как здесь будет, и везде будут убивать. А мы уже видали, как здесь возили на расстрел с гетто евреев.» Она говорит, «Никуда, ничего ехать. Сиди, надо отсюда удирать дальше, к фронту.» А это я хотела перейти фронт, но с детьми не брали. Вот, понимаете, вот все. А она уехала туда на праздники, писала, что ей там хорошо, чтоб я приехала, что там все есть и все. Там все свое, коровы свои и все. Но меня вот отговорили и я не поехала. Ну, еслиб я поехала, у меня бы было такое. Вот судьба, вот и все. Я верю в судьбу все-таки, верю в судьбу. Такая судьба у меня, что я должна была жить наверно. Сколько раз я болела уже после этого, при смерти была и все, вот жива осталась. Сейчас дочка моя только, я беспокоюсь о ней.

В: Почему?

О: Хоть бы она устроилась при моей жизни.

В: Устроится.

О: Вот и все.

В: А вот свекровь уехала к племяннику. А вы имя племянника знаете?

О: Знаю. Ах нет, имя тех я не знаю. Тех не знаю. Племянника не знаю. Я знаю, у них сын был на фронте. Он один уцелел--две сестры убили, они там были, и мать и отца. А он один был на фронте, он уцелел. Он жил у нас тогда, после войны. Ему некуда было деться и мы его взяли. А потом он женился и все.

В: А его как зовут?

О: Лева. Лева Аронов.

В: Аронов?

О: Да. Он живет в Гомеле сейчас, а двое детей и дочь уехала в Америку. Где она, я не знаю. Она мне не пишет, они нам не пишут.

В: А вот вы же сказали там, вот, люди смотрели Витю. Это потому что волосы кудрявые?

О: Он не был кудрявый, все время я его брила. Но глаза черные. Я всему говорила--он похож на еврея--что, «Сыночек, скажут тебе, что ты черненький откуда? Скажи, что ты похож на соседа.» Я не знала, что сказать. Тогда в молодости шутили и все. А Витя говорит. А подошла к нему одна и говорит, «Витенька, какой ты хорошенький, глаза как вишненки. Почему же у тебя такие черненькие глаза? На кого ж ты так похож?» Он говорит, «На соседа.» Ха, ха, не понимал. Хохотали. Вот так, всякими отбояривалась, всякими вещами.

Страшно, когда бомбили. Дрожали все мы кругом. Бомбили все время наши. И мы были очень рады. Может быть возьмут, может возьмут, ждали каждую минуту, а прошло столько лет. Не брали. Наши, все погибли, столько людей! Мы однажды были на таком перекрестке, когда с Белостока только прибежали. Стоял дом, лесничий был, дом богатый такой, огород и петухи и _____ и все. Там ходили по огороду.

5659

Он сам убрал с этого дома, потому что он стоит на опушке леса. И был перекрестный огонь. Наши и ихние...подступали наши, а эти....И вы знаете,

5669

вспышки этих снарядов _____ в огонь летал через крышу, через крышу. Дом не тронули, понимаете, ни те ни другие. Мы были поражены. А там была куча беженцев, военных, жен, и таких и гражданских всяких. И столько бомбили. Мы думали, разрывается лес. И все вверх, через дом, через дом, и мимо, вот так бомбили. Мы дрожали; мы думали, все отсюда. И потом перестали бомбить. Немцы видно отбили, потому что сразу немцы появились с этими фонариками, освещали. Так, я боялась, что они увидят мои волосы. Так я укуталась в одеяло, я помню вот так вот. А потом, когда мы очутились в это в кольце у немцев, ну так я тогда истребила свои документы. А надо было, чтоб не показать, кто я. Я в туалет бросила.

В: В туалет бросили документы все?

О: Да, да, да. Там на улице, да, да, да, на улице.

В: Все--и детские метрики и все?

О: Да, все, все, все. У меня была сберегательная книжка--муж уехал в Ленинград--чтобы я себе шубу купила.

В: Шубу?

О: Да, да. Эта сберегательная, если бы я не бросила, так я потом после войны отдавала ее у кого были, в клады. Так, я бросила тоже, потому что фамилия это--Гинзбурская--многие «г» пишут еще в середине. Вот так. А если бы я не бросила, но я не могла их сохранять. Я где была? Все. Я ее уничтожила. Ой, стоило это много здоровья, все, все! Как пошла на базар в Орел, крестики эти покупать. Купила. Они простые такие, это алюминиевые. Себе одела и детям. Все время носила.

В: А Соня Лисицкая, как фамилия?

О: Лисицкая--Глатман.

В: Глатман, да. Она тоже детям одела крестики?

О: Мы все вместе, это мы с ней вместе, да, да. И себе. И я все время носила. Ну, когда наши пришли, я раздели. Но я их повезла, и когда было 40 лет победы, раз справляли, так день у нас всегда 9ого мая, это день второго рождения. Мой день--5ого августа, когда я родилась вновь с детьми. И мы справляли 9ого мая, все приходили ко мне, дети, внуки, правнуки, и все. Итак я им на сорокалетие отдала каждому. Говорю, «Вот у вас талисман и вот его, что было у вас.» И Витя писал мне, что «Я сохраняю мой талисман.» И Леня также. У меня он есть. У меня он тоже есть, он есть, здесь в Америке. Ой, так. Все.

В: Вот, когда вы из Гомеля бежали и с другой семьей и с другими людьми были, эти люди евреи были, или нет?

О: Нет, с какими другими? Я только с Соней с этой. Она еврейка, она же мне сказала.

В: Да, Соня, понятно.

О: Да, и все, больше никто не бежал. Те--одни ушли тогда в деревню.

Одна Маша, она должна была рожать как раз, бедная эта, и тогда она

больная была--мы не знаем даже, ли она даже жива. А вторые еще оставались там, их не брали. А мы с ней только вдвоем бежали.

В: Эти люди, что бежали, они были просто беженцы, или они были еще евреи, боялись?

О: Одна еврейка, вот, которая рожать должна была, да. А те, я не помню. Я не знаю, потому что смутно их помню.

В: А вот что. Знали вы, что немцы к евреям так плохо относятся?

О: Ну, конечно. Нет, когда началась война, мы не знали.

В: Не знали?

О: Да, но когда этот случай, когда мы очутились в этом лесном домике, и стали говорить, что....Нет, мы еще в Польше знали, что немцы истребляли, в 30х годах, евреев.

В: Вы знали?

О: Да, да, а как же? Я очень политикой интересуюсь. Я всегда читаю все газеты. И до Ленинграда слушала все, все, с начала до конца, все новости, все ~~пятое~~ колесо, это, как ее, забыла, вот видите. Я в курсе всех событий. Так, что я все знала. Но когда эти пришли и стали...тут же они забрали мужчин сразу и на дворе расстреляли.

В: В общем, евреев?

О: Евреев, и там был один даже русский и расстреляли. Они не спрашивали, они же думали, что у них, а, как называется, «*Krieg*.»

В: *Blitzkrieg*.

О: Не "Blitz," а иначе еще. Не "totalen," забыла уже. Я знала так хорошо немецкий язык, и они думали, уже все, они взяли всю Россию. Так, они сразу мужчин вообще не брали, они всех расстреливали, до Минска.

После Минска, Бобруйска, котел был, задержались и видели, что не так легко. Так они стали брать в плен. И дали им ноту у все--что это вы убиваете? Ну, ваших тоже будем убивать. Я это все знала.

"Totalenkrieg," ну вот. Так, быстрая война. Ну, в общем они перестали убивать. Но вот когда мы были, так он спрятался на втором этаже, а мы женщины все в кучу. Нас рассматривали, а их взяли тут же во дворе, при нас расстреляли. Мы шли по трупам. Ой, что было! Наших сколько, сколько! Прямо негде было ходить. По трупам шли, молоденькие такие солдатики наши, ой! Был ужас какой-то!

Потом после войны, когда так надеялись и на все, так стало жуткий-- уже с 47ого года мы почувствовали, с 45ого по 47ой, мы почувствовали жуткий антисемитизм, сталинский. Это мы уже почувствовали. Евреев в институт перестали брать, а уже в университете говорить нечего, в консерваторию говорить нечёго. Мои девочки поступили в Иерусалиме в университет на одна мерительный. _____ Одна между прочим поступила в Ленинградский педагогический, но как она поступила, тоже история целая. Это благодаря моему Вите. Он их слал. Они побоялись, потому что теперь это было при Горбачеве, первое время перестройки. Ну, мы натерпелись этого--не дали в аспирантуру--светлая голова! Где он ни работал! Но он работает на таких должностях, как аспирант должен работать. За границу надо было его послать, так, в Японию. Так, написали, что «Мы просим мистера Гинзбурского к нам. Там он должен нам что-то проконсультировать.» Так, послали его подчиненного, но его нет. А должен был он ехать. И вообще много рассказывать.

А раньше они говорили, «Мама, почему ты нас в паспорте так записала, тогда?»--я там получала паспорт. У меня так горело все

внутри, что я хотела именно еврейкой и все. Понимаете? А конечно они здорово поплатились, особенно Леня и Витя. Но Витя похож, но все равно, документ ведь. Как посмотрят, так (неразб, counter 304).

5967 Посмотрели, она ж не очень, и сразу не приняли на работу. Она мыкалась, ну поступила по блатам, по разным. Есть порядочные люди, некоторые. Ой так, ну, все.

*Конф
Членки*
B: Вы устали?

O: Нет. Мы боимся, что поздно будет ночью, темно и все, и 9 часов. Я уже хочу домой. Надо вызвать такси.

P.G.: Ну хорошо. Спасибо большое.